

СИМОНЕТТА ВЕСПУЧЧИ

Рассказ

Он не знал, что впереди у него не осталось времени. Надеялся, что вывернется, что болезнь как-нибудь однажды возьмет — и исчезнет. Правда, он уже пережил возраст своих родителей, те умерли рано: отец в сорок лет от мочекаменной болезни, маменька в шестьдесят три, скорей всего, от дурного своего нрава и характера. Но нынче и медицина посильнее, да и он еще довольно крепок — совсем недавно пропадал по целым дням на охоте со своей Дианкой, в ведро и ненастье скитался по нехоженным лугам, увязал в болотах. К тому же он давно живет в благословенной Франции, это тоже плюс, климат помягче, люди поприветливей, не сравнить с хмустрой, равнодушной к человеку родиной.

Болезнь, однако, томила, особенно по ночам, боль в груди не давала пошевелиться, перевернуться на бок — приходилось колоть морфий.

Эту ночь он провел, слава богу, без морфия, но не спал. В полудреме представлялась ему Италия времен Ринашименто, божественный Боттичелли, женская обнаженная фигура — Венера, рождающаяся из морской пены, и она же в виде Флоры, чуть юнее и беззаботнее лицом, в цветах и травах, разбрасывающая розы на своем пути. Какая-то мысль уплывала, не давала себя схватить. Он стяхнул дрему, открыл глаза. Тени на потолке сложились в виде латинской буквы S. Он тотчас вспомил имя — Симонетта, Симонетта Веспуччи. Красавица, провозглашенная на рыцарском турнире, проводимом братом Лоренцо Великолепного, Джулиано, *la bella di Firenze*, прекрасная блондинка, прибывшая к флорентинскому двору из провинциальной Лигурии, где, по слухам, родилась в местечке с символическим названием Портовенере. Замужняя дама, юная, живая, наверное, писала стихи. Сразу обратила на себя внимание — даже строгий, девственно неприступный Боттичелли не устоял, все его женские модели имели лицо Симонетты, все были белокуры, юны, тонки и изящны. Что до Джулиано Медичи, младшего брата правителя, поэта и беззаботного философа, то тот просто потерял голову... Преследовал ее, чужую жену, своею любовью, победив на турнире, во всеуслышанье посвятил свою победу ей, Симонетте. Скорей всего, за это и поплатился, когда в двадцать пять лет был убит в церкви Санта Мария дель Фьоре заговорщиком, с говорящей фамилией Пацци¹.

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор интернет-журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах «Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс» (2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик» (2014), «Афинская школа» (2017), «Мария Маркович и Иван Тургенев. История отношений» (2017). Лауреат премии журнала «Нева» в номинации «критика» за 2015 год. Живет под Вашингтоном.

¹ Сумасшедшие (*итал.*).

Тени на потолке лежали густо, до утра было далеко. Он попробовал повернуться, застонал и остался лежать на спине, в этом положении боль можно было терпеть. Кто-то много лет назад говорил ему о Симонетте, кто-то из Италии, показывал копии боттичеллиевской Флоры, то ли это был русский, то ли... Малоросс, он вспомнил, это был малоросс, родом из Закарпатья, даже не малоросс, а русин, странный, небольшого роста человек в зеленой венгерке, с кожаным чемоданчиком в руке. Приезжал сюда, на улицу Дуэ, пятьдесят, проездом из Италии в Россию, в середине 1870-х...

Он лежал, боясь пошевелиться, и старался припомнить тогдашний разговор. Сидели в гостиной на огромном зеленом диване, раньше над ней висела картина Анри Руссо, пришлось ее продать, как и все любимые картины, чтобы помочь дочери Полинетте, когда муженек ее разорился и она убежала с детьми в Швейцарию. Это было его любимое место, его холостяцкий приют, где все было по его вкусу и размеру. Мадам Виардо редко здесь появлялась, хотя порой он был бы рад с ее помощью избавиться от докучного посетителя. А посещали его чуть не каждый день — ищущие правды российские разночинцы, студенты, художники, медички... Многие просили о помощи — денежной или словесной, и он, как мог, помогал, бывали и иностранцы — слава его уже гремела в мире.

Гость, его звали Эммануил Иванович Грабарь, хорошо говорил по-русски, хотя, по его словам, выучил язык самоучкой. Никогда не живя в России, он туда стремился как на свою заветную родину, был настоящим русофилом, ненавидел Австро-Венгерскую монархию, под властью которой, как он говорил, томилась его родная Галиччина, с кружком сочувствующих составил тайный противоправительственный заговор, был открыт — и с трудом избежал тюрьмы, скрывшись сначала во Франции, а затем в Италии. Там, в Италии, сказал он, со значением глядя в глаза собеседнику, *с ним и началась эта история.*

— Какая история, любезный Эммануил Иванович? — слегка испугался хозяин.

Гость был настолько мал и хлипок, что совсем не подходил на роль заговорщика, сокрушителя основ. Уж не фантазер ли или, чего доброго, слегка спятивший на своей идее? Таких среди соотечественников было много, он их побаивался. Правда, были среди них и такие гиганты, как Петр Лаврович Лавров или Герман Александрович Лопатин. Этих двоих, людей умных и высокообразованных, он выделял, их сумасшествие было сущностным, оно не бросалось в глаза.

Галичанин, все так же пристально глядя на собеседника, отвечал:

— Да, видите, стал я скучать, жена с детьми в Закарпатье, я один в чужом краю. Служил я воспитателем у малолетних детей Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато. Имение у него наикрасивейшее, под самой Флоренцией, природа, статуи, краса, да и только, но меня больше библиотека его привлекала, с русскими книгами. Нашел там ваши сочинения, Иван Сергеевич, — и ими от душевной моей туги спасался. Одна вещь особенно мне на сердце припала.

— Какая же?

— Повесть ваша «Первая любовь».

— Вот никогда бы не подумал, что человека вашего склада, политического заговорщика, привлечет эта тема. Что же вам там понравилось?

— А княжна, молодая княжна Зинаида Засекина, — простодушно отвечив гость, — и, понизив голос, почти шепотом, продолжал: — Она очень напомнила мне одно изображение, одну картину. Я видел ее в Галерее Уффици. Знаете, Иван Сергеевич, о чем я?

Странный гость ждал ответа, а в голове у хозяина снова мелькнуло: не безумен ли собеседник, но, скорей всего, он просто верит в сверхъестественные силы писателя, способного проникать в психические бездны других людей.

— Нет, Эммануил Иванович, не смогу угадать вашу загадку, сами скажите, заинтриговали.

— Ну как же, как же, вы же автор. Ведь вот смотрите, — гость потер лоб и проговорил нараспев, как стихи: «...в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия». Или вот еще, — он начал не вдруг, но потом проговорил не сбываясь: — «Я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы... и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...» Разве это не Флора с картины Боттичелли? Ведь точно она.

Из кожаного портфельчика гость достал листы со своими зарисовками.

— Поглядите, Иван Сергеевич, копии мои дурны, но даже по ним можно видеть, что и Венера, и Флора у Сандро Боттичелли — это один женский тип. Все она, везде она, гарная дивчина, чародейка Симонетта Веспуччи. Идеал великого Сандро, его первая и последняя любовь. Да вы про то сами все знаете. — Он повернулся к собеседнику всем своим маленьким телом, вперил в него острый немигающий взгляд. — Могу я, Иван Сергеевич, задать вам прямой вопрос? Я, собственно, ради него к вам пришел.

Спрашиваемый поежился, как от сквозняка. Что за вопрос? О чем? О Симонетте Веспуччи? При чем тут она? Какое отношение имеет она к его повести? По обыкновению, ответил уклончиво:

— Смотря какой вопрос, Эммануил Иванович, на некоторые прямые вопросы я ни прямо, ни косвенно не отвечаю.

— Мой вопрос совсем легонький. Кто была ваша Симонетта Веспуччи, Иван Сергеевич?

— Вы говорите про «Первую любовь»?

— Именно про нее.

— А для чего вам это знать, уважаемый Эммануил Иванович?

Вышло не слишком учтиво, обычно он не позволял себе с посетителями таких резкостей, но тут что-то в нем разыграло.

Собеседник отвел взгляд и покраснел.

— Вы правы, Иван Сергеевич, это праздное любопытство, благодарствуйте и извиняйте.

Поговорили о дальнейших планах гостя. Оказалось, что он уже завтра отправляется в Россию. И конечный пункт у него не Москва, не Петербург, а Рязанская губерния, уездный городишко Егорьевск. Он уже списался с тамошним школьным начальством, будет преподавать французский и немецкий в местной прогимназии. Дети и жена придут в Егорьевск, когда он окончательно устроится. С родиной своей души, Россией, он встретится в ее неприметном уголке — тем лучше. У него широкие планы, горячие надежды, наконец он увидит то, ради чего рисковал жизнью.

Хозяин снова поежился и, улыбнувшись на прощание, попросил уходящего написать о первых впечатлениях. Тот обещал. На этом они простились.

* * *

Днем все было как обычно: умывание чужими руками, утренний стакан молока, посещение врача, почта с письмами из России и прочих стран, мучительные попытки написать что-то в ответ, снова молоко — в день ему было прописано одиннадцать стаканов, потом бессмысленный день в постели, когда радость приносят только звуки, доносящиеся снизу, от Полины, в часы ее занятий с ученицами. В полдень на

минутку забежала Клоди, обдав свежестью январской морозной улицы, запахом духов, прелестью очаровательной тридцатилетней француженки, удачно вышедшей замуж, но не боящейся флирта и легких приключений. Ее и младшую дочь Полины, Марианну, он любил как своих дочек, даже больше; его родная дочь Полинетта и вполнину не была ему так близка; что до Поля, в котором многие находили сходство с ним, — оба относились друг к другу настороженно, даже предубежденно, что не помешало ему подарить подрастающему, подающему надежды музыканту скрипку Страдивари. Девочек Виардо он также обеспечил приданым, да и этот дом на улице Дуэ, где он жил на правах квартиранта, куплен был на его деньги. Полновластной хозяйкой дома была, однако, Полина, и это нисколько не противоречило его собственному желанию, что бы по этому поводу ни говорили его русские друзья.

Днем ему думать не хотелось. Зато ночью, когда Полина оставила его одного в компании ночника и колокольчика, он снова вернулся к вчерашним мыслям. К той странной встрече и вопросу незнакомца: «Кто она, ваша Симонетта Веспуччи?»

Ее имя в их семье было предано забвению. Матушка запретила о ней упоминать — ни устно, ни в письмах. Екатерина Шаховская. Княжна Катенька Шаховская. Матушка уничижительно звала ее «поэтка», так как она писала и печатала в журналах стихи и поэмы. Романтическая душа. До сих пор ему непонятно, как такая девушка, в которую нельзя было не влюбиться и которая легко могла покорить и женить на себе любого встреченного ею мужчину, как она стала любовницей женатого человека, его отца. Безоглядность юности? Любовь, разрушающая моральные преграды и условности света? А отец? Разве он не понимал, что губит эту молодую жизнь? Сейчас ему кажется, что отец попросту не успел. Умер раньше, чем смог что-то сделать для своей любимой... Умер в сорок лет. Знал ли он, что у его связи были последствия? Что у княжны был от него ребенок? Конечно, знал. Знала ли об этом матушка? Бесспорно. Она не была глуха и слепа, будучи старше отца и не обладая привлекательной внешностью, матушка не могла рассчитывать на его верность, но хотела хотя бы соблюдения приличий. Между тем отец поселился отдельно, словно и не было у него жены и сыновей, сплетни и толки о его связи долетали до ушей соломенной вдовы, долетали и до них с братом. Было ему в ту пору шестнадцать, и он ничего не понимал ни в жизни, ни в любви; сказать по правде, он и сегодня, на краю жизни, понимает в них ненамного больше. Катя Шаховская. Сама весна и радость, сероглазая, светловолосая, живая — дивная, умершая в двадцать два года, как та, которую любил гениальный художник...

Поразительным образом все события того печального времени слились в один нитяной клубок, который вдруг стал разматываться с невероятной быстротой.

Лето 1833 года, когда родители объединились на даче возле Нескучного, как потом оказалось, только для того, чтобы через месяц окончательно разъехаться: матушка обнаружила, что отец тайно встречается с возлюбленной; его поступление в университет, перевод в Петербург, отъезд матушки — одной — на лечение за границу, неожиданная смерть отца, отцовы похороны в отсутствие жены, даже не подумавшей поспешить к осиротелым детям и вернувшейся только через восемь месяцев после похорон. Все это, как картины какого-то кошмарного и чужого сна, следовало одно за другим и не доходило до его сознания. Как всякий юнец, он не хотел тогда думать о мраке и смерти, прогонял от себя морок, уходил в свои сферы: поэзию, науки, латынь...

Отец умер в 1834-м, матушка вернулась в 1835-м, а через год, в 1836-м, умерла княжна Шаховская. Правда, была она уже не Шаховская, а Владимирова. Даже до него, тогда студента, казалось, полностью отключившегося от всего происходящего, доходили слухи о ее катастрофическом замужестве — ее избранником стал бедный

вдовец-чиновник, служащий почтового департамента, без имени, без денег, без положения. На что еще могла она рассчитывать после истории с отцом?

Все в этой судьбе напоминало о роке и пахло смертью и гниением. Но было в ней и другое — был росток новой жизни, зеленый вешний росток, несший семя его отца...

* * *

Следующий день прошел, как и предыдущий. Болела спина от лежания, но вернуться по-прежнему было невозможно из-за возникающей тотчас резкой боли. Он старался не стонать и «не мучить окружающих» своими просьбами.

Утром за ним ухаживала сиделка, днем, как правило, приходила Полина. Она поднималась к нему, оставляя другого страждущего — несчастного Луи, своего престарелого мужа. Вот уже восемь лет, с тех пор, как его разбил инсульт, этот бывший живчик обездвижен. Даже когда был он здоров, выдержать его нескончаемую болтовню, его галльскую потребность удивить собеседника, его вечные шуточки было тяжело.

Он терпел Луи Виардо, даже выказывал дружелюбие — исключительно ради Полины. Муж, будучи на двадцать три года ее старше, всегда был для нее немножко «папá», и это при том, что смотрел ей в рот и плясал под ее дудку. Сейчас Луи был парализованный инвалид и изматывал окружающих тяжкими стонами и бесконечными жалобами на все: на плохих врачей и горькие лекарства, дурной сон и отсутствие аппетита... В первую очередь доставалось Полине.

Сегодня она пришла совершенно вымотанная. Села возле его постели и задремала. В ее присутствии он всегда чувствовал прилив сил, она давал ему уверенность, что все будет хорошо. Сейчас, задремавшая и неспособная защитить даже себя, Полина была вдвойне ему дорога. Он по-новому вглядывался в ее черты, склоненное на грудь бледно-оливковое лицо, темные веки, тяжелые, сходящиеся на переносице брови, начинающие сесть черные завитки возле ушей. Ближе к старости ее черты стали менее резки, приобрели величавость и покой. Он любил в ней все, ему нравилось, что она не была красавицей, не отличалась веселостью и беззаботностью, не умерла молодой, как ее старшая сестра, великая Малибран. В ней был характер, была воля, редкий мужчины мог ей противостоять. Этим она напоминала его матушку. Но у матушки не было дара, не было той божественной искры, которая, вселяясь в женщину, делает ее неотразимой.

Ночью он продолжал разматывать клубок, связанный с незнакомцем. Месяцев через пять после его посещения, весной, пришло от него письмо, где в обратном адресе значился Егорьевск Рязанской губернии. Разрезая конверт, он постарался представить, что будет в этом письме. Конечно же, разочарование, полнейшее разочарование в той реальной России, какую мог увидеть прибывший из Европы восторженный русофил, жалобы на дикость нравов, на нищету и отсутствие элементарных удобств, а также на директора и воспитанников, констатация повального невежества и бескультурья населения... Он был больше чем уверен, что ничего другого в письме не будет. И... ошибся.

Его странный гость писал, конечно, о бедности жителей Егорьевска и о бытовых неудобствах, но главным в его письме было не это. Он попал в Россию в январе, окупился в русскую зиму и описывал свое первое впечатление от снега, мороза, метели, а потом от внезапной февральской лазури, когда вдруг на недавно хмурой и суровой высоте проглянуло солнце и небо очистилось и заголубело. Кроме природы, тронула его доброта русских людей, помогавших ему, иностранцу, в обзаведении, квартирная хозяйка принесла ему овчинный тулуп и шкалик «для сугреву», столоваясь

у нее, он узнал вкус настоящей русской еды: ржаного хлеба, грешневой каши, квашеной капусты, соленых грибочков и чая утром, днем и вечером.

Но больше всего поразило автора письма то, что имя писателя, которого он любил и выделял, чью повесть «Первая любовь» знал почти наизусть, не только не забыто в мелком уездном городишке, но вознесено на небывалую высоту. Он по счастливой случайности познакомился с некоей особой, дающей уроки музыки и иностранных языков. О, это удивительная особа, она уже не столь молода, лет сорока, весьма образованна и держит себя с редким достоинством, хотя по всему видно, что живется ей нелегко. Так вот, эта дама, узнав, что он в Париже виделся с создателем «Первой любви», просияла и сказала, что он обязательно должен ее навестить, так как в ее доме представлен настоящий музей Ивана Сергеевича. Она продиктовала ему адрес съемной квартиры, в которой жила с мужем и дочерью. Выждав из вежливости несколько дней, в ближайшее же воскресенье — а оно выдалось по-настоящему майским, солнечным и теплым — он отправился по указанному адресу в гости к Варваре Николаевне — так звалась его новая знакомая.

Варвара Николаевна встретила его весьма беспокояно, несколько раз просила дочку — тихую белокурую девушку — сбегать во двор, чтобы предупредить кого-то о чем-то. Когда водила его по своему «музею», все оглядывалась на окошко, выходящее на улицу. По стенам их убогого жилища были развешаны портреты Ивана Сергеевича, один портрет особенно привлекал глаз — на нем писатель был еще очень молод и совсем не похож на себя сегодняшнего. Хозяйка сказала, что этот портрет был прислан из Германии самим Иваном Сергеевичем в подарок матери, а та однажды в гневе бросила его об пол, так, что стекло разбилось на множество осколков. Когда гнев Варвары Петровны улегся, пришлось заказывать новое стекло. Был здесь и ее портрет в медальоне слоновой кости — грузной, с застывшими резкими чертами. На другом медальоне, поменьше, была изображена прелестная молодая девушка с букетиком конвалей² за корсажем белого платья.

— Кто это?

Хозяйка помедлила:

— Не узнаете?

— Вы?

— А вы думали кто?

— А я думал... женщина, которую Иван Сергеевич любил. Получилось, как всегда у него, невежливо. В письме после этого шло многоточие.

Конец письма был скомкан. Было написано, что со двора внезапно донеслись крики и брань, хозяйка побледнела, а Надя — так звали ее дочь — побежала во двор и привела в дымину пьяного, вырывающегося из девичьих рук тучного неопрятного человека, который оказался мужем Варвары Николаевны. Гостю пришлось срочно ретироваться. Хозяйка со страданием на лице выбежала за ним на крыльцо, извиняясь за «Дмитрия Павловича»: в воскресенье, когда не на службе, он любит посидеть в местной распивочной.

— Может, вы во вторник придете? Муж будет на службе, часа в три-четыре, я вам еще кое-что покажу, — в голосе слышалась мольба.

На том и расстались.

Следом за первым письмом, с небольшим промежутком, пришло второе.

В нем говорилось, что Алевтина Филипповна, хозяйка апартаментов, в котором жил галичанин, сказала ему про мужа Варвары Николаевны: «Не пара он ей. Она на фортепьянах играет и на разных языках изъясняется, а он околоточный в полиции, да и пьяница, слышно, что скоро его за пьянство прогонят со службы. А коли прого-

² Конваллии — ландыши (укр.).

нят, тогда ей с девчонкой совсем придет каюк». На вопрос, почему такая культурная и образованная дама вышла за необразованного пьяницу, Алевтина Филипповна отвечала, что чужая душа — потемки и она в чужую жизнь не лезет.

Во вторник, после некоторого колебания, он пошел в гости к Варваре Николаевне. В этот раз все было по-другому, она никуда не спешила, угощала его чаем, играла на пару с дочкой этюды Клементи на стареньком разбитом фортепьяно. Он спросил, откуда у нее такой интерес к Ивану Сергеевичу и такая близость к его матери. Оказалось, что она с самого детства воспитывалась в доме Варвары Петровны и, не имея родителей, была ею удочерена.

— А куда, простите, делись ваши родители? — задал он бестактный вопрос.

Она замялась и даже, кажется, покраснела. Тут автор письма сделал приписку, что и сам обладает этим неприличным его возрасту свойством — краснеть по всякому поводу... Он, поняв свой промах, хотел было своротить на что-то другое, но Варвара Николаевна к этой теме вернулась и сказала, глядя не на него, а на свою дочку:

— Надюша знает, и я ни от кого не скрываю: считаю Варвару Петровну, по ее отношению ко мне, своей настоящей родительницей. Она мне и брильянты дарила, и как куколку наряжала, и был у меня экипаж для выезда, и учителя были — танцев, музыки, немецкого языка и французского. Варвара Петровна так своих сыновей не баловала, как меня, Ивану Сергеевичу из-за того, что жил за границей, вообще в деньгах отказала. А со мной было иначе. Тогда думалось, что все это — подготовка для будущей светской приятной жизни, а как теперь понимаю — средство, чтобы заработать на хлеб насущный. Вот даю теперь за гроши уроки местным гимназистам — обучаю музыке и языкам. — Она помолчала, а потом, все так же глядя на дочку, завершила свой горький рассказ: — Когда Варвара Петровна умерла, мне было семнадцать лет, с тех пор моя судьба переломилась, покатила под горку.

Сумная³ настала минута, все как-то задумались, приуныли. Но тут Варвара Николаевна улыбнулась и сказала неожиданно весело, с каким-то задором:

— Так вы полагаете, что девушка с ландышами могла вызвать любовь Ивана Сергеевича?

С этими словами она взяла с полки журнал — это был «Современник» за 1844 год — и стала читать оттуда тихим проникновенным голосом. Это было стихотворение, ей посвященное.

Когда в весенний день, о ангел мой послушный,
С прогулки воротясь, ко мне подходишь ты
И, руку протянув, с улыбкой простодушной
Мне подаешь мои любимые цветы,
С цветами той руки тогда не разлучая,
Я радостно прижмусь губами к ним и к ней...
И проникаюсь весь, беспечно отдыхая,
И запахом цветов, и близостью твоей...

Галичанин счел неуместным цитировать все стихотворение, которое его создатель, Иван Сергеевич, знает и без него. Сам он переписал стихи к себе в тетрадь, туда же, куда записывал свои ощущения после прочтения «Первой любви».

На прощание Варвара Николаевна вынула из стоявшего на фортепьяно стакана букетик ландышей и протянула гостю: «Возьмите, Наденька поутру собрала их возле дома — это вам на память». От цветов шел нежный запах. Он сжал их в руке.

³ Сумная — грустная (укр.).

Конец этого письма, как и предыдущего, был непропорционально куцым. В последней фразе сообщалось, что мужа Варвары Николаевны буквально на следующий день после памятной встречи выгнали со службы, и теперь он целыми днями торчит дома и пьет горькую.

* * *

С некоторых пор каждую ночь ему кололи морфий. В ту ночь он от морфия откасался, морщась, повернулся на спину — и замер. Боль тоже замерла. Но внутренняя, более тяжкая боль души, была при нем, не уходила. Письма галичанина его растревожили. Лежа с закрытыми глазами, в полудреме, он пытался вспомнить стихи, которые посвятил девочке-отроковице, чей звонкий голос, взгляд серых глаз, милая улыбка так напоминали ему его первую любовь, Катю Шаховскую.

В памяти всплывали, казалось, давно забытые, сорок лет назад написанные строчки:

Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи,
Любуюсь тишиной больших и светлых глаз
И слушаю твои младенческие речи...

Да, речи были младенческие, Вареньке шел в ту пору одиннадцатый год, крошка, влюбленная в него, как в старшего брата, и глядящая на «Жана» с обожанием. А он, он видел в ней ту, ушедшую. Поразительное сходство. Вареньку, или Биби, как называла ее Варвара Петровна, принято было считать «грехом» Андрея Берса, в молодости служившего у них в семье домашним врачом. Берс, однако, внимания к ней не проявлял, практиковал и жил своей обособленной жизнью в Москве, приезжая на охоту в Спасское, на ребенка не смотрел, разве что хранил выписанный Варварой Петровной на его имя вексель в пятнадцать тысяч серебром, предназначенный для девочки. Берс всегда помогал матушке в ее денежных делах.

В полусне-полубодрствовании он мучительно припоминал, было ли у него подозрение, что здесь что-то не так. Что не Берс отец Биби и что такое поразительное сходство девочки с княжной Шаховской не случайно?

Гляжу тебе в лицо с отрадой, сердцу новой,
И наглядеться я тобою не могу...
И только для тебя в душе моей суровой
И нежность, и любовь я свято берегу.

В год написания этих стихов он встретил Полину. И устремился за нею в Европу. За нею и ее мужем. А Россия и все то ужасное, что было с ней связано — судьба несчастной княжны, смерть отца, самоуправство и жестокость матери, картины крепостной деревни, — все это, он думал, осталось позади. Но вот он лежит — и вспоминает, и прошлое совсем рядом, только протяни руку. И сердце саднит от того, что был он тогда жесток и несправедлив. Да, жесток и несправедлив.

Когда в 1850-м приехал на похороны матери — после стольких лет жизни в чужой стране и чужой семье, после тисков безденежья и отвратительного существования в качестве «приживала» в семье Виардо — он приехал в Москву как наследник одного из богатейших состояний. Что на него тогда нашло, почему он заподозрил в этой тоненькой семнадцатилетней большеглазой барышне, после смерти матушки оставшейся в полном одиночестве и без всякой защиты, коварную интри-

ганку, мечтающую поживиться матушкиным наследством? Почему все сделал, чтобы выгнать ее из дома, даже и брату не дав ее приютить?

Да, они с Николаем решили честно отдать ей деньги, завещанные Варварой Петровной. Но когда? После замужества. А пока выплачивать проценты. Почему они не подумали, как будет жить эта юная душа после случившейся в ее жизни катастрофы?

Два года назад, приехав в Россию на открытие памятника Пушкину, на какой-то встрече в Дворянском собрании он увидел устремленный на него взгляд. Женщина в темном платье, еще не старая, но с бледным, до чрезвычайности измученным лицом, пробивалась к нему через плотный человеческий ряд:

— Иван Сергеевич, вы меня помните?

Он не помнил и смотрел на нее с испугом.

— Это же я, я, Варвара Лутовинова-Богданович, теперь Житова. Вспомнили?

Эта женщина — Варенька? Это та самая Биби, которая собирала для него ландыши? Он заволновался, как когда-то в юности, когда не знал урока. С чем она пришла? С незажившей обидой? Со своим горем?

— Иван Сергеевич, дорогой, как я рада, — женщина вглядывалась в него, и слезы текли по исхудалым щекам. — Как же я рада, что встретила вас хоть на склоне лет. Вы... вы меня простили?

* * *

Тени ушли с потолка, забрезжило утро. Он дотронулся до своего лица, оно было мокрым. Внезапно снизу до него донеслась мелодия, он узнал голос Полины, она часто теперь пела по утрам.

Слов разобрать он не мог, но мелодия была радостная, призывная. Он подумал, что зима совсем скоро кончится — и наступит весна. Та самая, что приходит в образе прекрасной девушки, в цветах и травах, разбрасывая перед собой розы. Может быть, весной ему полегчает — и он начнет писать рассказ, который пригрезился ему во время его зимнего лежания, его название он уже знает — «Симонетта Веспуччи».